

Егор Сакерин

ТРИ НЕ СОБРАННЫХ ЦИКЛА

1. ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

Страна дождей, блядей, пенсионеров
слепых котов и мусорного рынка,
сырых дворов, набухшего суглинка,
крысиной радости и привокзальных слов.

Таскать ли комья тополиной грязи
на обуви в пивных очередях
за кислым запахом,

стоять ли у витрин
комиссионной лавочки обносков?

Что, кроме овощей с базара
и кратковременности губ,
друг другу тащат эти люди
по пояс в ядовитой ряске
боготной почвы?

Вяжущий и горький,
удушливый, как мешковина, запах
сырого кофе обжигает горло
который полдень.

Копотью наполнить
горло и легкие, чтоб голос был чистейшим.
Любовь базарным мусором украсить,
чтоб стала нежной.

Врать и слушать ложь,
чтоб называться другом.

Что за блажь
взбрела - работать! что-то рифмовать.

х х х

ПОПЫТКА АВТОПОРТРЕТА

1.

ТОПОЛЯ В ИЮЛЕ

Еще дожди посверкиванием лезвий
не сорвались. Еще слова чисты,
как вымытые стекла. Не успели
улыбок встречных линий еще
стать ломкими. И тополя живут,
как мы, — наощупь,

столь же тяжелы
земной тяжестью и кровью. И любовь
их — столь же мусорна, как наша,
и в пыли
их семя душное (набухшее сползет
на землю пыльными комами).

Говорить
болотным жителям пристало на наречья
крещенской чистоты с болотным привкусом.

Мы, знаете ль, горды и ремесло
дышать цементной пылью поучений
при вдохе между строк — не сменим
на долгий выдох. Ремесло лепить,
на языке похрустывая гарью
отечества. Куда нас повело!
Работа наша и родство — не больше,
чем поцелуй в зале ожиданий
на чемоданах.

Чем отдать
долги за ту монашескую милость —
способность жить. Как листья тополей
после любви, — мы бесполезны без
прямой и жесткой речи:

передать,
переиначить и очеловечить.
(Иль искалечить...) — вся моя беда!

2.

Мне показался горьким разговор
и я оскорбил его. И в маленькую комнату
к себе привел насмешливую девочку
и стал играть с ней, — на колени посадил
и стал насмешлив, и тогда она
заплакала. Я спросил как звать ее.
Она сказала — Красота. И я пошел
к друзьям и нежным стал. И скоро замолчали
друзья. Сидели и молчали. И кофе пили.
Тогда я понял, что это называется —
писать стихи.
Перечитал — и горькими они мне показались.

3.

Да в кой веки. Можно не спешить.
Колючее игрушечное войско
своих забот и речи беспокойство
не то, чтобы сдержать иль отложить,
но сдвинуть рукавом (как если в гости
друзья приходят).

По какой из вех
декабрьской синевой разоблаченный
в том, что мое хромое тело землю
землей назвать ни разу не посмело
И ложью — ложь еще не называло,
и друга — другом, — по какой из вех
по щебню серому российского базара
теперь идти? Расспрашивая всех
и никого не слушая, иду
на свой же голос.

4.

Сырую глину замеси
и дом построй. И будет — дом.
И камнем вымости вокруг.
И мусор к дому наноси,
чтобы уютней стало в нем.

И приведи к себе тогда
друзей и встреченных впервые.
Чтоб стало тесно в доме жить.
И там живи. Но никогда
в себе хозяина не выдай.

Поставь на стол лишь горький чай.
До черноты, до боли горький.
И станут щедрым называть.
И не умей, не различай
свое или чужое горе.
И там живи.

х х х

КАФЕ

1.

Девушка входит, и красные брюки лучами
из-под пальто, чернотой удлиненного,
быют в грязный кафель кафе, отражаясь
красными бликами выше изгибов бровей,
выше линии губ, уголками опущенных книзу.
Девушка входит.

И пепел, легко оторвавшись
от бледец,
поднимется хлопьями от сквозняка
из-под двери
и будет летать среди дыма,
ресниц накладных и улыбок
пока не налипнет на взгляды,
пока не налипнет
на багровые лица мужчин
принимающих форму тихого запаха кофе.
Время пить рислинг и верхнюю кнопку
у платья
отстегивать. Время ключицы и шею открыть.

2.

Под платьем цвета рислинга и лжи
клеймо абортов до ночи запрятав,
таскать ли в бар с изяществом заплаты
полуулыбку. Полубнажив
повыше бедер душу (как поэты
перед ночной работой), заказать
две тонких рюмочки, куда по гос.рецепту
беду и смех помогут замешать.
Тянуть соломинкой судьбу свою и горечь -
ни зла, ни золота, ни слабости, ни сил
колени выпростать из иллистого сора.
Любовь ли просить,
любовью ли простить
вокзальных дней вокзальные заботы.
Все пепел крошится, все жжет на языке
вишневый спирт, все в пальцах холодок
и лень подняться и окно прикрыть.

х х х

ПОПЫТКИ ВСПОМНИТЬ

1.

Трамвайной сутолокой полдня
и душным запахом кофеен
мы праздновали март. Спешили
и снегом весело скрипели,
и светом был словарь наполнен.

Пока блестело и дробилось,
тянуло паром из цельменных
и звоном нарушило будни,-
еще не знали мы, что будет,
что по витринам зря двоились.

Не выкечь, вынести и спрятать
нам дали ангельское право.
Апреля бедная оправа
уже над Ригой серебрилась.
И мы смеялись, чтоб не плакать.

2.

В какой ты обиде, в какой немоте,
какую печаль не развязешь никак?
Какая прохладца и горечь в руках?
И что наплели, нагадали тебе?

Тогда мы с тобою не знали еще,
что нам припасли и назвали судьбой,
что, как в номерах, приготовили счет
еще до любви и до встречи с тобой.

Тогда мы не знали /к чему торопить?/,
что нас проклянут и оставят вдвоем,
что вся и защита: друг друга прикрыть,—
ты— слабой ладонью, я— жестким плечом.

Что не уберечь эту нежность и соль,
покуда от всех укрывая и пряча,
устанешь от мусора, правил и плача.
И нечем унять эту душную боль.

И нечем еще защитить от сиротства
наш горький огонь,— укрывая вдвоем.
И только одно для двоих остается:
ты— слабой ладонью, я— жестким плечом.

3.

Пока ладонь касается лица,
пока лицо принадлежит ладони,—
да не замкнется улица, не тронет
ее распад разлада и конца.

Да не простят прохожие тот март -
наш лабиринт, - где слепо, как от солнца,
мы праздновали признаки сиротства.
В пустой пельменной кто-то разливал
зеленый рислинг. Граны у стакана
прохладны были, как прогулка наша,
как воскресенье и как все, - что раньше,
как переход от февраля к обману
апрельской безмятежности.

Да будет
неисправимо все, что не исправить
касаньем губ...

х х х

РИСУНОК НА ЧАЙКЕ

Прохладней вечерних кочевий
и утренней речи спокойней -
оранжевых ягод беспечность
касается губ и ладоней.

Оранжевых ягод... Откуда
такая свобода и нежность?
Движений и слов беспечность -
фаянсовой глины причуда

всего лишь? Но- если бы только
игра виноградин, - орнамент
вечерней беседы случайной
не стал бы доверчив настолько.



ПТИЦЫ

Птицы летят освещенные снизу.
Ни жестом единым, ни словом песчанным,
ни облаком чистым, к земле не причастным,
не вылепить света текущую призму.
Но птицы летят освещенные светом,
слюистого ветра теченьем объяты, —
над красной стеной кирпича и дощатым
шершавым и цепким распластанным летом.
Не глупе, чем гласных исход безымянный,
не легче, чем плеч безысходная жила, —
там крылья о свет опирая и ширя,
горбатое тело несли, накреняя,
бездомные птицы. Над летом прогорклым,
над рынком, где веет рекой и укропом,
где мертвый люпин, но ни жестом единым:
зависнувший свет ощутить как опору.
Как плоть, что пловца омывает и плещет,
подъемлет над рынком и дома лишает,
и веки снимает, и выдохнуть нечем...
Но день расползался, как некий лишайник.
Травою и илом тянуло с залива,
кирпич обнажался и сыпалась известь.
Но птицы текли освещенные снизу,
как некие звери, летя молчаливо.
Крылами по лицам водя и телами
сбивая прохожих, — сквозь кровли и стены, —
медлительней крови, тяжельше дыханья,
о свет опираясь, как шествие пленных.

х х х

Не надо читать паутинные книги,
пыталась читать научиться. Не надо
смотреть в зеркала, чтоб увидеть. Не надо
листать на земле муравьевные книги,

чтоб нашей любви ощущимость и тяжесть
себе разгадать и наощупь изведать.-
Что кровь бутафорий и воска их тяжесть,
когда этот мир только кожей изведать

возможно! Лишь кожей, подошвами, болью
в плечах и ключицах. Как яблоко, слово
наполнится весом и новое слово
заключит в себе. Холодице, как болью,

дотронется легкой горячью нежность
до потного лба, до горбатого поддия.
И липы набухнут и соты наполнят.
И рыбы поднимутся в реках на нерест.

И злобы, и счастья тугие соцветья
нам плечи огрузят. И города выгиб
поднимется круто и выберет сети.
Не надо листать паутинные книги.

х х х

Еще и драться не умея
не то что верить и любить,
он так берег свои деревья,
как будто сам боялся жить .

И выходя на свет из сада,
полузакрыв лицо рукой,
не знал и не хотел другой
земли левее Ленинграда.

А здесь-всю осень напролет
его и сад его шатало,

дремучим воздухом болот
их, как утопленников, рвало.

Он плакал молча по утрам,
не понимая где болело,
не находя рубцов от ран,
и сам ветвями ранил тело.

а... это - птица пролетела.

х х х

ТАМ, ГДЕ РОДИЛСЯ

Мир глине дома твоего.
Горбатых кубиков из глины
печальна тяжесть и родство
с моим уродством. Баловство
детей детсадовских, по зимней
поре сдетых, на траве
горелой, на песке морозном -
вот наша жизнь с тобой. Ростом
мы одинаковы.

Ни с кем
соленой крови нашей тяжесть
так не разлучит и не свяжет!
и не накажет так ничем,
как этим зеркалом, где жесть
и пыль,-

удушливым, как разговор
лишь для приличья.

Что птичья наша честь,
пока из дома не выносим сор! -
плеч не поднять, ключицы не развесть.

2.

Коричнево-красный кустарник,
промок ли над ржавым карьером?
Мой остров щемящий. Мой серый

колючий звереныш осенний.
Сквозная - равнина ли, рана.

х х х

Как грустно жить.

И улыбаться грустно -
еще грустней. И груз не по плечу,
но по душа. Подумаешь, - отпустит
же когда-нибудь нас это колесо
слепого снегопада. В балагане
своей любви, как белка в барабане
кочуем.

/Снег сейчас идет в лицо,
а завтра - в спину. Вот и все различье./
Сkitаний наших странна синева!
Поскрипывают по миру по-птичьи
повозки наши. Ницкие слова
и ожиданье - вот и вся поклака.
Убогий скарб. /И тот - едва сдвигаем!/
С ручной тележкой, наперед не знал
не то что путь, где заночуют даже,
идут, поднявши ворот, и чем дальше,
тем легче форму снега принимают...

х х х

Ползет воитель. Пылью и песком
глаза и рот забиты
и белками
он стал белей, чем шествие слепых.
Наталкиваясь пальцами на камни,
без ног, как ящер голову вздымая,
подтягивая тело по степи,
выискивая кожей и ноздрями
врагов оставшихся, ползет воитель.
Ни слух, ни зренье больше не нужны:
руками ищет где бы умереть

или убить.

Издалека ползет,
чтобы проткнуть чужое горло. Пепел,
все пепел.

В доме - ни огня, ни сора.
Забыты окна. Нож по рукоять
в буханке хлеба на столе оставлен.
Ушел воинтель на служенье Богу.

х х х

СТИХИ ПОСЛЕ СТИХОВ

О чем нам музыка поет,
и что она, ей-богу, хочет?
Уж не о том ли, что забот
вольготней не было и проще,
чем слушать вздор ее небесный,
который как-то неуместен
наверх Васильевских болот.

Домов оставленных жилец
продрог в очередном жилище:
она сквозит, как щели в крыше,
да что ей надо наконец!

Не свет, не кров и не предмет,—
хотя бы звук, хотя бы почерк!
Да ведь и звука даже нет,—
так лишь, — безделница, плевочек.

Но жить не даст и заморочит.
Ни слов, ни плача не расслушать,
пока играет и хлопочет
вокруг постелей и пивнушек,

пока, как малый мотылек,
душа за ней не исневает:
то на огонь, то на цветок —
и что губительней не знает.

И в наготе оставит, в клети,
чтобы смотрел на белый свет,
как на чужой подарок дети,
когда для них подарков нет.

х х х

СОНЕТ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

1.

Тем, кто любовь переживет, —
дай жить им, Господи, не тронь.
Они не для твоих забав,
и слуги не твоих забот.

Оставь. Ты завершил игру.
Теперь твоей забавы прихоть
не ихней кровью будет двигать
и день их не тобой живет.

Для ласк твоих другим черед —
не им, кто обгорел и выкил.
Ех дом теперь — не стены с крышей:

молчания змеиный ход.
...Смотри — столь не спеша идет,
что кажется, — что к Богу ближе.

2.

На то нам горе и дают,
чтоб воробышний март отметить,
души засвеченной уют
не проявить — но не заметить,
чтоб город называть страной,
где жизнь идет и ночи ходят,
люви светильник расписной
маячит и тенями водит
по лбу.

На то нам и дают
рисунок лиц смертельно чистый,
чтобы не знать, когда убьют
чужая жизнь и март безлистый,
когда над тенью лицевой
мелькнет свихнувшаяся птица,
когда на шорех за спиной
не станет сил оборотиться.

...Пока мы собирались жить,
прося лишь одного от века -
узнать живого человека
и голос с голосом сложить,-
нам стало нечем говорить
и нечем дом пустой заполнить,-
теперь лицо в ладони скомкать -
и то друзей не воротить...

На то нам стены и дают,
чтоб расписной фонарь пристроить,
чтоб свет от нежности настольной
не скомкал город-баламут.

На то нам нежность и дают,
чтобы защитным цветом грела,
пока за окнами пройдут
февральских сумерек пробели,
пока над полднем гостевым
идет слепительное солнце,
пока по кровлям, недвижим,
скульптурный ангел пронесется,
пока над миром из людей,
скворцов, и рыб, и чертовщины
взойдет, как айсберг, белый день
и душу вылепит из глины,

чтоб мог и смять ее, и скомкать,
и формой ангела напомнить.

3.

Про что безумствуешь, дитя,
и светлый глаз растишь,
душой вокруг себя летя,
неслышимо, как мышь.

Про что пытаешься сказать,
не научась словам?
Даст Бог - минут: этот срам
не торопись узнать.

Дитя печали и любви,
просвечивая сквозь,
иди на белый свет, лети,
закав ромашки в горсть.

Свой правый локоть отведи
/как если машут вслед/,
промежду крыш, где гари нет,
жилье себе найди.

С цветами белыми в горсти
и - по ветвям дерев!
Чужую жизнь перелистни
как лист, едва задев.

Смеясь и призрачней свечи
на фоне света дня,
/даст Бог - минут/ умолчи,
о чем внизу твердят.

Даст Бог - удастся умереть
и тем остаться жить,-
пока - дитя, пока ходить
не надобно уметь,

пока над миром из людей
тебя вознес твой Бог,
покамест от любви своей
на время уберег.

х х х

ИЗ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Как в халком и беспомощном царстве
по океану,- жизнь моя добралась
до общей гавани. Последнее осталось -
добро и зло пересчитать в уме.

Отиные слишком ясно стало мне:
желал то, чего желает каждый,
искусство сделав идолом и каждой,—
всего лишь горб таскал я на спине.

Что от любви осталось мне теперь,
когда близка двойная смерть! Уверен
в одной из них, другая — угрожает.

Душа боится к старости потерять,
желая лишь спокойствия и веры.
Резец и кисть и этого лишают.

х х х

БЕРЕГ

Не скован ли палец твой без окольцовки?
Свободно ль пришелся ошейник свободы?
Гляди за окно на бесправье погоды,
в вагоне ютясь до своей остановки.

Сойди, где решил, на казенную землю —
качнет и протянет полуденной влагой
и смертью вольготной.

Да и не затем ли
свободой опутал себя и отвагой.

Иди, как решил, пока имя забудешь,—
без имени, — скажешь, — живу и без речи.
Смотри, коме выбрал, на марта увечья,—
твой взор отворен, — на суглинок и пустень.

Твой взор отворен — не за этим ли даром
дыханья и вольности шел и не чаял
души под собой, над собою угара,
как бедный влюбленный не чает печали.

Дыши этим небом, родным и землистым,
любви, отраженной на водах залива.
Последней души неукрытую пристань
осталось оставить, дождавшись отлива.

Да только луны прекратились кочевья,-
полуденной смерти плесканье и шелест.
За этим ли шел по земле, коченея,-
здесь дом обнажился нежданной доселе
последней души. Без имен и без тени
теперь отражаясь в траве отсыревшей,
смотри, коли выбрал, как гнется орешник
и птица сквозь дом пролетает плачевно.

х х х

Судьба свой промысел ведет
и катит старые колеса,
где пятых спиц не достает
и обода сточились косо.



Четыре смерти и любви
прокатят вдоль и обнажится
четыре шрама вдоль груди,
но пятый поперек ложится,

Бог весть какая благодать
его отточит и направит,-
все, что хотел предугадать -
крест-накрест молча переправит.

Идут, по глине дребезжа,
стуча по грунту ободами,
пока бессмертная душа
себя пытает именами.

Без имени ничейный звук
пять струн на теле перестроит
так, что заплачешь или скроешь -
уже не важно: без порук
пошла душа! Пошла, не зная
куда и что ее ведет,
пока ее не намотает
на ось и в глину не воняет.

х х х

Октябрь уже. И ветрено. И снегом,
и яблоками зимними к утру
земля сырая начинает пахнуть,
как будто сняли с яблок кожуру,
и зубы ломит холдом и небом.

Октябрь уже. Но кожей отделен
от города поспешности и гари,
я стал чужим, как зритель на пожаре,
и как в тюрьму в себя же заключен.

Октябрь уже. Забывчивость души
цинична, как порез без крови.
Но ничего не помню, кроме
того, что мы собирались жить,

что ветрено уже и снегом,
и яблоками зимними к утру,
как будто сняли с яблок кожуру,
земля сырая начинает пахнуть.

х х х